



НАЕДИНЕ С МАРКОМ АВРЕЛИЕМ

Марк Аврелий Антонин. Размышления.
(«Литературные памятники») Л. «Наука». 1985. 245 стр.

«Недалеко забвение: у тебя — обо всем и у всего — о тебе». Так писал, счастливо заблуждаясь, Марк Аврелий около двух тысяч лет назад. Время опровергло его слова не без изысканной иронии: забвение для него так и не настало. Философ, рассуждавший о тщете славы, оказался прославленным в веках, в частности, благодаря и этим рассуждениям о славе и забвении.

В чем же неисчерпанная актуальность «Размышлений» Марка Аврелия, в разное время неоднократно — полностью или частично — переведившихся на русский язык, а теперь вышедших в новом переводе в серии «Литературные памятники»? Этот невинный на первый взгляд вопрос может оказаться весьма болезненным. Проблемы, над которыми размышлял им-

ператор-язычник, зачастую так и остались неразрешенными.

Сила книги Аврелия во многом — еще один парадокс! — связана со слабостью авторской позиции. Философская самостоятельность его идей весьма сомнительна, в них он слишком обязан стоицизму. Так же трудно назвать его мысль и последовательной. В книге много внутренних противоречий, несогласованности, «мешанины». Ясно, что Аврелий не слишком дорожил чистотой и последовательностью доктрины. Его волновало другое — совмещение философии и жизни, очеловечивание философских принципов.

Однако это едва ли принесло бы мыслителю бессмертие, если бы он не предстал перед потомками во всяком случае в четырех ролях. Его справедливо называ-

ли философом на троне, что в истории редкий случай. По сути же, Аврелий соединил в себе черты простого смертного, философа, императора и — последнее обстоятельство крайне важно — литератора, оказавшегося способным адекватно выразить свое душевное состояние.

Самобытность Аврелия — в интимности его книги, затрагивающей всего человека без остатка. Автор пишет для самого себя и настолько свободен в выборе формы, что не испытывает страха ни перед повторами, ни перед противоречиями, в какой-то мере замещает или предвещает не свойственный фаталистическим основам античного мышления психологизм.

Загадка власти всегда интриγουаща. Правитель, сосредоточивший в своих руках безграничную власть императора Римской империи, интересен как мощный аккумулятор социального опыта, недоступного частному лицу. Философ на троне волей-неволей превращается в философа-экспериментатора, который, если перефразировать знаменитый тезис Маркса, не только объясняет мир, но и имеет весьма серьезную возможность его изменить. Взгляд «сверху» позволяет ему лучше постичь социальную природу человека, заметить «блеск и нищету» его общественных амбиций. Именно с точки зрения опытного, несколько утомленного заботами сорокалетнего правителя Аврелий рассматривал славу, тщеславие, власть. Именно с этой точки зрения он предостерегал себя (и других всевозможных правителей) от опасного искуса наслаждения властью: «Гляди, не оцезарей, не пропитайся порфирой — бывает такое. Береги себя простым, достойным, неиспорченным, строгим, прямым, другом справедливости, благочестивым, доброжелательным, приветливым, крепким на всякое подобающее дело».

Соответствовал ли Аврелий провозглашенному им императорскому кодексу чести? Ответ на этот вопрос — в статье А. Доватура «Римский император Марк Аврелий Антонин» — одной из трех статей, составляющих приложение к тексту. Впрочем, сведения о царствовании Марка Аврелия не отличаются ни обилием, ни обстоятельностью. Известно, что император был миролюбив и гуманен, благодаря чему время его правления получило в исторической традиции название «золотого века». Из его дел, о которых говорится в статье, хочется особенно выделить учреждение в Афинах четырех кафедр фило-

софии (для каждого из господствовавших и споривших между собой в то время философских направлений), что, безусловно, свидетельствует не только о широте мысли императора, но и об его отношении к самой возможности поисков истины.

Мудрый император не заслонил в Аврелии простого смертного, который буквально ушиблен проблемой своей смертности. Его мысль вновь и вновь возвращается к этой проблеме. Не в силах разрешить ее посредством выхода за пределы земного «я», сомневаясь в личностном бессмертии, он пытается примириться со смертью и как заклинание твердит: «Все, что видишь, скоро погибнет, и всякий, кто видит, как оно гибнет, скоро и сам погибнет. По смерти и должитель, и кто безвременно умер станут равны». Но это утешение, к которому не раз впоследствии обращались другие, не слишком-то утешает, и потому, чтобы связать концы и начала, жизнь и смерть, Аврелий пересматривает с точки зрения неминуемой смерти основные принципы жизни, тем самым, как справедливо пишет автор другой статьи Ян Унт, превращая смерть в «смыслообразующее явление».

Аврелия как философа нельзя понять внеисторически, вне кризисного момента развития культуры, когда античная система ценностей постепенно разрушалась, а нарождающееся христианство еще не получило статуса мировой религии, способной авторитетно ответить на вопросы жизни и смерти. Несмотря на богатство и зрелость предшествующей философии, Аврелий оказывается в решении важнейших жизненных проблем наедине с собой. Его записки — это, может быть, прежде всего борьба автора со своими глубокими внутренними сомнениями, которые касаются основополагающего вопроса о смысле мироздания, и отчаяньем, вызванным тем, что сомнение может привести к обесцениванию любых человеческих ценностей, крушению цивилизации. Аврелий — мужественный нравственный проповедник, поставленный в драматическую ситуацию культурно-религиозной «пересменки». Мир, как старая дверь, сошел, сорван с петель — какую нравственную позицию следует в нем занять? Аврелий ясно осознает, что нравственность не может существовать в атмосфере распада смысла, он борется за смысл, он доказывает другим, что смысл — есть, но сам не вполне в этом уверен. Вот почему так страстен его голос в те моменты, когда он гонит сомнения прочь, вну-

шая себе, что «всякий, кто чем бы то ни было опечален или недоволен, похож на поросенка, которого приносят богам, а он бредкается и визжит».

Мысль Аврелия мечется от сурового аскетизма до умеренного наслажденчества («трезво веселись»), от принятия самоубийства до протеста против него, она буквально изнывает от противоречий, отражая момент страдания души, которая устремлена к смыслу. Как сомнения не могли быть преодолены до конца, так и книга не могла быть завершена и представлена читателю. Автор скорее всего предпочел остаться со своими сомнениями, нежели сгладить их, предложив мнимо счастливую развязку. В этом, мне думается, причина фрагментарности, «несобранности» записок, вызывающих у читателя ощущение черновика, но в этом же и причина их жизненной достоверности.

Книга раненного сомнениями проповедника всякий раз обретала особую актуальность, когда происходила коренная переоценка духовных ценностей. Нам неизвестно, читал ли Аврелия Достоевский, но он внутренне близок автору «Размышлений» в постановке больших вопросов о смысле творения. Не случайно издатели последнего полного собрания сочинений Достоевского нашли аналогию между высказыванием капитана в романе «Бесы» («Если бога нет, то какой же я после того капитан?») и следующей мыслью Аврелия: «Уйти от людей не страшно, если есть боги, потому что во зло они тебя не ввергнут. Если же их нет или у них заботы нет о человеческих делах, то что мне и жить в мире, где нет божества, где промысла нет?»

Традиционная трактовка Аврелия лишь как настойчивого и даже несколько монотонного проповедника нравственного самоусовершенствования обедняет его мысль. В начале XX века на Западе, да и у нас, наблюдалась демифологизация личности Аврелия, ставшего объектом пародий и шуток. Это вполне объяснимо недоверием новейшей культуры в условиях мировых катаклизмов к рецептам самоусовершенствования. Однако если в «Размышлениях» и встречаются пассажи, порожденные навивной антропологией античности, отрицавшей злую волю, следует признать, что Аврелий во многом способствовал созданию нравственного кодекса, сохранившего непреходящее значение до наших дней. Воспитание, по Аврелию, — это усвоение целой системы нравственных представлений: от «изящества нрава и негневливости» (о

чем автор пишет в первой же строке книги; кто из нас может похвастаться этими качествами?) до достойного поведения перед лицом смерти.

Разговор о книге будет неполным, если не сказать об Аврелии как писателе. Руководствуясь идеей: «Пусть не разукрашит твою мысль вычурность», — Аврелий тем не менее пользуется художественной силой слова. Его книга напоминает литераторам о том, что художественный дар не следует разменивать по пустякам, что метафора хороша лишь тогда, когда служит раскрытию мысли, а не просто состязается с другими метафорами в оригинальности. Жестоким аналитик, стремившийся сорвать с жизни обманчивое покрывало красоты и обесмыслить наслаждения (с тем чтобы ослабить власть жизни над собой), Аврелий видит в подливке или другой подобной пище «рыбий труп», в тоге с пурпурной каймой — «овечьи волосы, вымазанные в крови ракушки», а в физической любви такое, что осторожные переводчики долгое время не осмеливались и переводить. Он утверждает, что «все частичное по сравнению с естественным — одно зернышко, а по времени — один поворот сверла». Этот «один поворот сверла» выдает подлинного художника. Или взять, к примеру, его афоризм на тему философии страдания: «А что не делает человека хуже, может ли делать хуже жизнь человека?»

Словесное мастерство Аврелия открывается нам в новом переводе книги, выполненном А. Гавриловым. Переводчик поставил перед собой цель «попробовать дать точный в историко-филологическом отношении слепок памятника», передать вместе его философский, нравственный и литературный смысл. В отличие от своих предшественников А. Гаврилов настаивает на недопустимости «прояснения текста там, где он бывает неясен и для тех, кто вчитывается в него в оригинале», причем перевод не должен сглаживать «признаки минутного настроения, черты конспективности, которые иногда привлекают к нему больше, чем сознательные литературные усилия». Подобные теоретические установки нельзя не приветствовать, тем более что они воплотились в новом русском тексте памятника. Возражения может вызвать разве что излишняя лихость в осовременивании текста. Такие фразы, как «по-родственному мило», «не дергайся», «прежде всего, не дергайся, не напрягайся» или: «только как уж по-обывательски все это», рождены без учета воздействия на читате-

ля «милых» новейших жаргонных коннотаций.

А. Гаврилов не только перевел текст, но и написал наиболее интересную по материалу и размышлениям статью «Марк Аврелий в России». Говоря об особенностях русского восприятия книги, он замечает, что Марк Аврелий «стал символом царственного искателя истины, эмблемой создающего свои несовершенства идеального монарха, парадигмой человеческой бесприютности в любом уделе». При этом, что любопытно, в русской традиции Аврелию как монарху придавалось определяющее значение, «...по характерной чувствительности ко всему неблагополучному, — тонко замечает исследователь, — у нас пронизательно были усмотрены и даже использованы в идейной борьбе некоторые ноты разлада в этой сложной личности». А. Гаврилов приводит письмо общественного деятеля В. Н. Каразина молодому Александру I, в котором, указывая на образец Марка Аврелия, Каразин призывает царя к «воспитанию в народе гражданского чувства на пути личных свобод». Однако Аврелий служил не только либеральной эмблемой. Будучи еще великим князем, Николай I, напротив, выделял в его книге места, где говорится о том, «сколько блага может сотворить добродетельный государь с твердым характером».

Русские писатели также очень по-разному представляли себе Аврелия. Пушкин решительно не согласился с Чаадаевым, для которого Аврелий был «всего лишь занятый образчик искусственного величия и вымученной добродетели». На нравственный опыт Марка Аврелия опирался в поздний период творчества Гоголь, хотя у него, по справедливому слову исследователя, «философская система и упорные

упражнения римского императора в жизненном освоении философской системы грозят превратиться в назидательно-утешительную проповедь». Эхо размышлений Аврелия слышится в религиозных сомнениях Тургенева. Но особенно важно влияние, которое оказал Аврелий на Толстого, на протяжении последних тридцати лет жизни усиленно читавшего его книгу и определившего ее как одну «из тех лучших книг, которые нам нечаянно оставляли люди». В своем обращении к Аврелию Толстой, сам того, видимо, не подозревая, позволяет выявить «бунтарские черточки» императора, его «неофициальный», загнанный, можно сказать, в подтекст лик.

А. Гаврилов не забывает указать на основную слабость отечественного восприятия «Размышлений»: «...Тревога мысли у Марка Аврелия занимала нас больше, чем сами его мысли». В результате «кни разу не возникла потребность издать подлинник, не говоря уж о комментированном издании, каких немало было на Западе». Здесь исследователь затрагивает действительно серьезную проблему, которая много шире темы «Размышлений».

Разногласия мнений о Марке Аврелии, переходящая порой в какофонию, понятна и неудивительна. Его книга — это сгусток экзистенциальных проблем, стоящих перед каждым мыслящим человеком, выход за пределы академической философии в «живую жизнь», столкновение противоположных жизненных принципов. Единственным условием познания Аврелия остается пристальное вчитывание в его текст. Только наедине с Аврелием внимательному читателю раскроются личность автора и его собственная личность.

Вик. ЕРОФЕЕВ.